



— Детективы 19 века —



Александр Шкляревский

# Что побудило к убийству? Рассказ судебного следователя



Детективы 19 века

Александр Шкляревский

**Что побудило к убийству?  
Рассказ судебного следователя**

Издательство «Зерна»

1872-1873

## **Шкляревский А. А.**

Что побудило к убийству? Рассказ судебного следователя  
/ А. А. Шкляревский — Издательство «Зерна»,  
1872-1873 — (Детективы 19 века)

ISBN 978-5-907190-44-3

Александр Шкляревский – русский писатель XIX века, «отец» детективного жанра в России. Его детективы были основаны на реальных уголовных делах тогдашнего времени, в чем ему помогло знакомство со знаменитым судьей А. Ф. Кони. Поэтому они очень жизненные и захватывают внимание читателя с первых страниц. В эту книгу вошли повести «Что побудило к убийству?» и «Рассказ судебного следователя». В них неопытный следователь столкнулся не только с запутанным делом, но и с крайне изощренным преступником...

ISBN 978-5-907190-44-3

© Шкляревский А. А., 1872-1873  
© Издательство «Зерна», 1872-1873

## Содержание

Предисловие	6
Что побудило к убийству?	7
Глава первая	7
Глава вторая	8
Глава третья	11
Глава четвертая	17
Глава пятая	20
Глава шестая	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Александр Шкляревский**  
**Что побудило к убийству?**  
**Рассказ судебного следователя**

© Издательство «Зерна», 2020

## Предисловие

Шкляревский (Александр Андреевич, 1837–1883) – беллетрист, уроженец Полтавской губернии. Учился в 1-й харьковской гимназии, но вследствие крайней бедности родителей вынужден был выйти из 4-го класса. В 1854 г. он выдержал экзамен на звание приходского учителя и, получив место в Воронеже, прослужил там более 10 лет; состоял также преподавателем в воронежской женской прогимназии.

Начал писать в «Воронежских Губернских Ведомостях»; в журнале «Воспитание» Чумакова напечатан ряд его статей педагогического содержания. Известность «русского Габорио» Шкляревский получил в конце 1860-х годов, как автор многочисленных повестей и романов уголовного содержания. Первое произведение его в этом стиле – «Отпетый» (рассказ) был напечатан в журнале «Дело» (1866) и имел значительный успех. В этом же году, по болезни, страдая пороком сердца, Шкляревский оставил педагогическую деятельность и посвятил себя исключительно литературному труду.

В 1869 г. Шкляревский переселился в Петербург и долгое время сотрудничал в «Санкт-Петербургских Ведомостях» (редакции Корша), затем и во многих других изданиях. Необходимость быстро и спешно работать неблагоприятно отзывалась на развитии его таланта. Кроме множества рассказов, изданных под общим названием «Рассказы судебного следователя» (том I, СПб., 1872), вышли также отдельным изданием: «Доля» (сказка-быль, СПб., 1870), «Шевельнулось теплое чувство» (повесть, СПб., 1870), «Сочинения, повести и рассказы» (М., 1871), «Повести и рассказы» (М., 1872), «Уголки трущобного мира» (СПб., 1875), «Исповедь ссыльного» (СПб., 1877, 2 издание, 1879), «Принциписты-самоубийцы» (М., 1880), «Утро после бала» и «Нераскрытое преступление» (М., 1878), «Убийство без следов» (СПб., 1878), «Современные преступники» (М., 1880), «Две преступницы» (М., 1880), «Как люди погибают» (М., 1880), «Собрание сочинений» (СПб., 1881), «Самоубийца ли она?» (СПб., 1882), роман «Новая метла» (который написан Шкляревским за несколько месяцев до смерти, СПб., 1886, издание 2-е, в пользу семейства Шкляревского; здесь же помещен биографический очерк Шкляревского).

## Что побудило к убийству?

### Глава первая

Происшествие, которое я хочу вам рассказать, случилось в Петербурге, в 186\* году в сентябре, отличавшемся в тот год необыкновенными жарами, так что петербуржцы заставили свои окна двойными рамами лишь после Покрова.

Я жил в то время в *chambres garnies*<sup>1</sup> на Вознесенском проспекте.

Квартира моя состояла всего из одной комнаты, разделенной на две части тяжелыми драпри<sup>2</sup>. Одна половина составляла кабинет, залу, гостиную, – словом, все, что хотите, – другая, за драпри, – спальню.

Ночь под шестнадцатое сентября я промучился страшной бессонницей и заснул только в девять часов утра, когда прислуга уже распорядилась подать мне самовар; но и здесь мне не удалось подремать порядком: кто-то сильно стал стучать в мою дверь, против чего коридорный попытался робко протестовать замечанием, что я целую ночь не спал.

– Ничего... По очень нужному делу, – отвечал на это мужской голос и непосредственно отнесся ко мне: – Господин следователь, отойдите!

Делать было нечего: я встал, отпер дверь и очутился лицом к лицу с полицейским приставом<sup>3</sup>, мужчиною высокого роста, с большими русыми бакенбардами, одетым в полную форму.

– Сделайте милость, извините, что беспокоил, – сказал он, – будьте добры, одевайтесь и поедemте сейчас со мною. В вашем участке случилось важное преступление... В квартире полковника Верховского совершено убийство.

– Верховского? На углу Петровской и Павловской улиц? – спросил я с особенным изумлением, так как семейство Верховского было мне знакомо.

– Так точно, – отвечал пристав.

– Кто же убит?

– Он сам.

– Как, каким образом?

– Ничего не знаю. Я видел только труп. Поедемте.

Я поспешил наскоро одеться, и мы отправились.

---

<sup>1</sup> Меблированные комнаты (фр.).

<sup>2</sup> Драпри – занавеска, портьера.

<sup>3</sup> Полицейский пристав – начальник полиции небольшой территориальной административной единицы.

## Глава вторая

Улицы Петровская и Павловская, носящие теперь другие названия, принадлежат к одним из многолюдных в Петербурге. На углу их, в доме под № 29/17, в бельэтаже<sup>4</sup>, занимал обширную квартиру, со множеством комнат и роскошной мебелировкой, отставной уланский полковник Валериан Константинович Верховский, человек с состоянием, заключавшимся в наличном капитале и поместьях в разных губерниях.

В этой квартире, кроме него и жены Антонины Васильевны, женщины за сорок лет, бледной, с чахоточным румянцем, но сохранившей следы замечательной красоты и казавшейся, как сильная блондинка, гораздо моложе, – жили в качестве ее компаньонки две женщины: одна – белокурая, лет тридцати, Авдотья Николаевна Кардамонова, другая, моложе ее лет на шесть, – француженка, с черными жгучими глазами, Жозефина Францевна Люсеваль. Обе они были в своем роде красивы. У каждой из дам была своя горничная, а у Верховского – старик камердинер, служивший ему с самого детства, из крепостных, испытанной преданности к своему барину. Все эти лица имели ночлег при господах в бельэтаже. К ним еще следует присоединить казачка, превратившегося по летам в лакея, который спал в передней.

Остальная прислуга, состоявшая из другого лакея, кучера, повара и мальчика, помощника его, помещалась особо, в обширной кухне, служившей также и людскою<sup>5</sup>, во внутреннем флигеле<sup>6</sup>.

Швейцар обыкновенно был на своем месте только до вечера, а затем, если семейство хозяина, жившего в первом этаже, было дома, он отправлялся на покой, а чтобы не беспокоить себя отпиранием дверей прочим жильцам второго и третьего этажа и их гостям, оставлял подъезд целую ночь незапертым.

Когда я и пристав подъехали к дому, где жил Верховский, у подъезда уже стояли два городовых<sup>7</sup>, околоточный надзиратель<sup>8</sup> и небольшая кучка любопытных, вероятно узнавших о происшествии в доме, которых полицейские упрашивали «честно и благородно» разойтись.

Мы поднялись быстро по витой чугунной лестнице в бельэтаж. Входная дверь к Верховскому, украшенная медной дощечкой с его именем, отчеством и фамилией, была слегка приотворена, и пристав отворил ее без звонка. В передней царил какой-то странный беспорядок; прислуги не было, и только стоял один городской, но едва мы вошли в залу, слышались шаги и оттуда показались вытянутые и бледные лица лакеев, горничных и прочей домашней челяди; за ними показался и камердинер Прокофьич. Старик был взволнован, сумрачен, осунулся весь, с красными воспаленными глазами от пролитых слез.

Не снимая пальто, пристав пошел вперед чрез залу, из которой направо шла дверь в кабинет, где случилось происшествие. Там мы застали полицмейстера<sup>9</sup>, врача, помощника пристава и фельдшера.

Удивительно, как при уголовных следствиях самые простые и обыкновенные вещи принимают какой-то странный вид. Так, проходя залу, мне показалось, что и зеркала, и рояль, и кресла смотрели на меня иным взглядом, чем прежде, таинственным и загадочным...

Каждая вещица в кабинете как бы говорила мне: «Я была свидетельницей преступления; убийца входил со мною в сношения; я знаю тайну, но не скажу и буду смотреть на тебя так

---

<sup>4</sup> Бельэтаж – второй этаж дома-особняка, предназначенный для приема гостей.

<sup>5</sup> Людская – помещение для слуг при барском доме.

<sup>6</sup> Флигель – дополнительная пристройка к дому.

<sup>7</sup> Городовой – низший чин городской полиции.

<sup>8</sup> Околоточный надзиратель – полицейский чин, ведавший околотком (районом города).

<sup>9</sup> Полицмейстер – глава городской полиции.

таинственно и сурово, пока ты сам в нее не проникнешь.» Возьмем для примера нож, гвоздь, стакан. Сегодня эти вещи, для нас имеют одно лишь свое прозаическое значение, но если завтра какая-либо из них послужит орудием к смерти, то она уже возбуждает в нас нечто тревожное.

Кабинет Верховского служил ему также и спальней. Это была четырехугольная комната, с драпри, за которыми находилась кровать; на стене за нею висел богатый персидский ковер, с развешанным на нем оружием.

Кровавая картина представилась мне, когда я вошел в кабинет!

Драпри было приподнято вверх, и на полу, около кровати, на подножном ковре, широко пропитанном целою лужею крови, в особенности там, где было туловище, лежал закутанный в одеяло труп Верховского, в таком положении, как будто он упал набок и затем опрокинулся лицом кверху. Тут же, на полу, у головы его, валялась упавшая с кровати подушка, но без следов крови.

Верховскому было за пятьдесят лет, но он был очень свеж и здоров, красил волосы на голове, на усах и бакенбардах и имел вид красивого, сильного сорокалетнего штаб-офицера<sup>10</sup>.

Теперь лицо его не выражало прежней молодцеватости, оно сразу постарело, сделалось желтым, рот скривился направо к скуле, исказив щеку, что, при полуоткрытых больших серых недвижных глазах, придавало физиономии выражение ужаса. Между тем голова склонилась бессильно к плечу, хотя одна рука, приподнятая к ключице, сжимала кулак, левая же спустилась ниже груди, к глубокой ране. Кинжал лежал по левую сторону трупа. Лезвие его, по анатомическому исследованию, проникло в самое сердце. Все белье около раны было смочено кровью, которая стала запекаться и вместе с рубашкой присыхать к телу. На постели, а именно на простыне, кровь видна была с двух сторон, или, если вообразить на ней лежащего человека, то с двух боков: с левой, к стене, она шла брызгами, как будто полилась фонтаном, с правой, к спуску простыни с кровати, – большое пятно и от него, ровной полоской, – ручеек к полу.

Это заставляло предполагать, что удар нанесен был на кровати и в тот же момент тело или упало, или было сброшено на пол. Но убийство не могло быть совершено из каких-либо корыстных видов, так как не было сделано ни малейшего денежного или какого-либо другого похищения. В ушах моих звучал вопрос: «Кто был убийца?» Затем промелькнула мысль: «Не сам ли Верховский покончил с собой?» Однако положение трупа, доводы врача и собственные соображения, в связи с некоторыми данными, вскоре заставили совершенно отвергнуть последнее предположение. Приступая к составлению судебно-медицинского акта об осмотре трупа и положении, в каком он найден нами, я пригласил жену Верховского и ее компаньонку присутствовать при этом и подписать акт.

Все эти женщины вошли вместе; они были мертвенно бледны и в сильном испуге; более других казалась взволнованною француженка, вся трясающаяся, как в лихорадке; менее других – Кардамонова: глаза и вся ее физиономия выражали более удивление, чем испуг. Что же касается самой Верховской, то, если б ее не поддерживали компаньонки, она едва ли бы была в состоянии войти в комнату, до того женщина эта была слаба и убита горем. Я, разумеется, сейчас же усадил их, предложив Верховской самое покойное место. Лицо ее было крайне болезненно, и по нему шли какие-то странные пятна, не то подкожные от ударов, не то царапины; щека была широко повязана белым носовым платком.

Кончив осмотр трупа, белья, постели и ковра, я приступил к осмотру комнаты, и здесь мое внимание было привлечено, во-первых, ножнами, висевшими на ковре, которые пришлись совершенно по мерке к кинжалу, послужившему орудием к убийству, а во-вторых, более важным обстоятельством: от ковра по полу виднелись чуть заметные пятна, уничтожившие лоск натертого воском паркета, вроде следов от мокрой обуви. В ближайших пятнах к коврам врач

---

<sup>10</sup> Штаб-офицер – военный или гражданский чиновник V–VIII классов.

нашел осадки крови; следы вели к двери в залу и продолжались до гостиной, где исчезли, – вероятно, по случаю разостланного в этой комнате ковра; далее их не было найдено нигде, несмотря на тщательный обыск по всей квартире.

«Но, – рассуждал я, – если осадки крови остались на следах, то кровавые пятна должны быть и на обуви? Не отыщу ли я их на ком-либо из домашних?» Я тотчас же решился приступить к следствию и сделать всему и всем самый строжайший осмотр, хотя бы на это я должен был употребить двое суток без отдыха.

– Кто первый увидел убитого? – спросил я присутствовавших.

Вопрос этот остался на несколько минут без ответа. Я повторил его.

– Он, – проговорила француженка, указывая на камердинера.

– Вы?

– Д-д-да... я-с, – ответил старик с замешательством. – Извините, я недослышал. Глух.

Этот недостаток отвечающего был мне известен.

Я попросил дам удалиться в гостиную и ждать своей очереди, пока я сниму показание с камердинера. Они удалились.

## Глава третья

– Как вы узнали о несчастном происшествии? – спросил я Прокофьяча, когда мы остались одни.

– Всему виною Филипп, – отвечал он.

– Какой Филипп?

– Дежурный, что спал в передней. Ну, как-таки, молодой малый – и ничего не слышал! Уродит же Господь Бог такое создание! Хоть ты из пушек пали, спит как мертвец. Чистая анафема! Прости мое, Господи, согрешение.

– Сами же вы где спите?

– Тут, у барина за стеной. Эта сонетка<sup>11</sup> ко мне проведена. Рядом комната, первая дверь из залы налево, в коридоре. Да из меня толку мало. Я уже осьмой год тут на оба уха. И то сказать, пора: ведь семь десятков с годом. Покойник Константин Иванович изволили приставить меня к Валериану Константиновичу, когда они в ту пору второй день как на ножках ходить начали, а я уже был парень рослый... И странная это глухота. Иной раз при мне кто нарочно что скажет, чтоб я не услышал, – все слышу; иной – Валериан Константинович еле докричатся.

– Как вы узнали, что он мертв?

– Вот как было дело. Просыпаюсь я сегодня часов в семь, а у самого щемит да щемит чего-то сердце. Думаю себе, что бы это означало? Однако умылся, помолился Богу и стал ставить самовар. Валериан Константинович, хотя уже в супружестве больше двадцати семи лет, но чай с барыней никогда не пьют, так, значит, приучили себя с детства, а потом с первых же дней женитьбы, оттого что барыня просыпалась часу в десятом, а им – в девять часов чтоб самовар был уже непременно на столе. Только сегодня, гляжу, стрелка уже к девяти подвигается, а звонка нет. Что бы это такое, думаю. Заспался, должно быть; отнести-ка самовар. Взял подносик под мышку и только нагнулся к самовару, как слышу, будто дверь отворилась... Глядь – стоит передо мной француженка. Бледная такая! Должно быть, она первая увидела. «Что с вами, – спрашиваю, – барышня? Чего так рано проснулись, всегда спали часов до двенадцати?» – «Ничего, – говорит, а сама дрожит! – Тебя, – говорит, – кажется, барин звал. Иди к нему. Отчего ты до сих пор не подаешь самовар?» – «Это, – отвечаю, – мое дело».

Вхожу, смотрю, барин лежит на полу, как видели. Тут я, известное дело, страшно испужался, чуть не обронил самовар, крикнул. Вслед за тем сейчас же прибежал Филипп, далее француженка, Авдотья Николаевна; Филька махнул оповестить и в кухню; сбежался народ. Антонина Васильевна пришли уже опосля.

– Кто же, вы думаете, убил Валериана Константиновича?

– Поистине, – отвечал старик, – знать не знаю, ведать не ведаю. Не хочу на душу греха брать. Не было у него никаких таких врагов. Покойник были, царство ему небесное, характера вспыльчивого, но добрые, сущий ангел. Один только и был за ними грех – до прекрасного пола очень неравнодушны. Да и как посторонний к нам заберется? Двери вчера на ночь я запер, хоть очистительную присягу приму, и парадный, и черный ход. Притом Филька хоть и спит крепко, а все бы услышал, если б двери ломали, замки же целы; к черному ходу – девичья, и все девки налицо; ночью, говорят, не вставали. Сказать бы, какая уходила за чем-либо другим, так попросила бы запереть за собою подругу. К тому же их на этот счет у нас нестрого держат, барыня добрая: попросись только с вечера и иди себе.

– Но разве из домашних никто не мог убить?

– Из домашних? Кто же? Не я же и не Филька? А то сами посудите: бабы... куда им!

– А что вы думаете о француженке?

---

<sup>11</sup> Сонетка – комнатный звонок для вызова прислуги, приводимый в действие шнурком.

– Это справедливо: точно, она, должно быть, первая увидела.

– В таком случае она входила в комнату к Валериану Константиновичу. Зачем же?

Вопрос мой смутил камердинера. Он переступил с ноги на ногу и тихо проговорил:

– Секретные дела были. Валериан Константинович хотя и разлюбил ее, да она все хаживала.

– Вы говорите, что барин ваш разлюбил ее?

Прокофьич кивнул головою.

– Не ревновала ли она его к кому-нибудь?

– Ни к кому. Была у ней ревность, да прошла: года четыре или пять назад, когда барин ухаживал за Авдотьей Николаевной.

Что ни вопрос мой, то семейная жизнь Верховского разоблачалась все более и более передо мною, становясь вместе с тем все запутаннее и грязнее.

– Теперь Валериан Константинович вновь сошелся с Кардамоновой? – предложил я новый вопрос, желая катехитическим путем<sup>12</sup> добраться какой-нибудь сути.

– Нет. С французенкой была у них любовь, а с этой, почитай, и не было. Так, с недельку занимались они ею, а далее поступила французенка, и бросили вовсе.

– Как же Авдотья Николаевна?

– Ничего себе.

– Барыня не ревновала?

– Нет. Допрежь огорчались, а потом махнули рукой, с тех пор как родился у Валериана Константиновича на стороне ребенок. Этому лет двадцать с лишним будет. Видят, что ничего не поделают.

– Где же вчера был барин? Доктор нашел, что он с вечера был, должно быть, выпивши.

– Были-с. Утром они уезжали к полковнику Филофею Дмитриевичу Кавеляеву, на именины. Там они пробыли до шести часов вечера и возвратились хмельны; но спать не легли, а только переоделись и опять поехали было из дому, сказав барыне, что едут по делу. И поехали: должно быть, ездили они к своей чухонке<sup>13</sup>, да не застали ее дома, выпили с досады еще и возвратились домой злющий-презлющий. Часа полтора-два ездили – не более, потому не успел я сходить на кухню да в лавочку за табаком, как они тут как тут.

– Про какую чухонку вы говорите? Вы знаете ее адрес и кто она?

– Знаю. Мудрено прозывается: Бэта Крестьяновна; живет в Басковом переулке. Раза два отвозил я ей деньги. Непутящая! Познакомился с нею Валериан Константинович у Дорота<sup>14</sup> и с тех пор стал ездить. Понравилась она ему лучше французенки.

– Ну последняя и ревновала?

– Может быть, и ревновала бы, да вряд ли ей это было известно.

– Приехавши, Валериан Константинович позвал вас к себе?

– Да-с, позвонили и приказали подать бутылку коньяку, лимону и позвать барыню. После того, когда я подавал, что приказывали, Антонина Васильевна еще не приходили; а барин сидели вот на этом кресле, опустя голову, хмельные. «Убирайся ты, – сказали они мне, – от меня к черту и не смей входить: сегодня ты мне не нужен, я и сам разденусь». «Эге! – подумал я, – скверно: верно, будет беда барыне.» Валериан Константинович всегда отсылал меня с глаз долой, если когда задумает что недоброе. Совестился. И действительно, Филька говорил, что была между ними большая ссора, но подслушать, за что, он побоялся.

---

<sup>12</sup> То есть на основе цепочки взаимосвязанных вопросов, что практиковалось в катехизисах – пособиях для изучения основ христианского вероучения.

<sup>13</sup> Чухонцы – старинное название эстонцев и карело-финнов, проживавших в окрестностях Санкт-Петербурга.

<sup>14</sup> Дорот – известный петербургский ресторан, названный по фамилии владельца – Ш. Дорота.

– Значит, – остановил я поток слов Прокофьича, – вы ничего не знаете, за что началась и чем кончилась ссора?

– Не знаю-с. Да и никто, потому что как только барин позовут барыню в кабинет, то всем уж известно, что они в больших сердцах, и все тогда уходят по своим комнатам, чтоб не показываться на глаза, а то они начнут, бывало, придирааться.

– Вы мне говорили, – продолжал я допрос об отношениях Валериана Константиновича к Кардамоновой и Люсеваль, – этого, кроме вас, никто не знает?

– Как не знать! Все знают, начиная с барыни.

– Это очень важно! – воскликнул я невольно. – Не было ли претензий на Валериана Константиновича и со стороны женской прислуги? – спросил я, принимая в соображение нравственные достоинства покойника.

– Нет. Насчет этого покойник очень строги и горды были... И ни Боже мой!

– Я чрезвычайно спешу следствием, – заметил я Прокофьичу, – и поэтому не успел позвать священника и даже предупредить вас, что все высказанное мне вы должны подтвердить под присягою. Я надеялся, что это вам, как пожилому человеку, и без меня известно. Правду ли вы мне говорили?

– Сущую правду.

– Сегодня, когда вы увидели барина мертвым, вы не ходили ни за чем в гостиную?

– Нет-с.

По окончании допроса Прокофьича я пригласил к себе Люсеваль.

Выражение лица и манеры этой особы, когда она вошла ко мне, явно обнаруживали ее внутреннюю решимость преодолеть свое волнение предо мною и отвечать на вопросы хладнокровно, как совершенно непричастная свидетельница совершившегося преступления. Она говорила так дурно по-русски, что я с трудом мог понимать ее и поневоле прибегнул к французскому языку. Люсеваль объяснила мне, что семейная жизнь Верховских ей почти настолько же известна, насколько и мне; далее, что хотя между супругами и бывали иногда размолвки и ссоры, но они не носили характера серьезных неприятностей, и вообще Верховские жили между собой в согласии, любя и уважая, как ей казалось, друг друга. Собственные же ее отношения к членам семьи не переходили за пределы обычной роли компаньонки, без всякого чувства любви или злобы к тому или другому члену. Про вчерашнюю ссору или размолвку между мужем и женою она отозвалась, что слышала о ней мельком, что же касается происшествий сегодняшнего дня, то, встав поутру рано, она вошла в залу за книгою, которую забыла в этой комнате с вечера, и здесь она услышала, или ей, может быть, так показалось, из кабинета голос Верховского, как бы звавшего слугу, что и побудило ее пойти и позвать Прокофьича, который первый и увидел ужасную картину.

– Это все равно, – заметил я ей, – вы ли, Прокофьич или кто другой первый увидел труп; но дело в том, кто совершил преступление и как бы найти это лицо...

Затем я растолковал, какие последствия могут быть для нее, если окажется, что она показывает неправду.

– Еще есть время, если вы имеете что-нибудь прибавить, – сказал я.

– Нет, – отвечала Люсеваль довольно решительно, вышедши из своего раздумья.

Я записал ее показания, и она их подписала.

Вызванная к допросу, вслед за Люсеваль, Кардамонова была довольно еще молодая белокурая женщина, полная, белая, румяная, с голубыми глазами с поволокою. Показания ее отличались полною искренностью, с опасением за свои прежние отношения к покойнику, прекращенные еще за несколько лет до рокового происшествия. Впрочем, сначала она стала было показывать о добром согласии между Верховскими, но когда я заметил ей, что мне известно нечто другое, то она тотчас же созналась, что сама была неоднократно свидетельницей семейных сцен между супругами, повод к которым подавал муж своим беспорядочным образом

жизни; но, несмотря на это, Верховская никогда ни в чем, как за глаза, так и в глаза, не упрекала мужа, а нападал сам он, причем малейшее оправдание жены или слезы ее приводили его в бешенство... Об убийстве Кардамонова узнала от своей горничной, которая разбудила ее. Ночью она крику или шуму никакого не слыхала, и кто был убийцей – не знает, и подозрений ни на кого не имеет. Этим Кардамонова думала и ограничить свое показание, но я, объяснив ей, как и Люсеваль, согласно своей обязанности, важность свидетельских показаний, решился предложить ей смелый вопрос, пригласив ее, чтоб она мне прямо и откровенно, для своей же пользы, созналась, в каких отношениях она находилась к покойнику и к его жене.

Внезапность моего вопроса смутила ее. Она вспыхнула вся, затем побледнела и отвечала несвязно и расстроено:

– Да. Первое время Валериан Константинович ухаживал за мной. Я его боялась. Но что же мне было делать. Положение мое было горькое. Это продолжалось недолго. Приехала Жозефина Францевна, и все кончилось, вот уже четвертый год. Клянусь вам Богом. С Антониной Васильевной же я никогда не ссорилась. Я попросила у ней прощения, и мы живем с нею очень дружно и согласно. Спросите у ней самой.

– Не сомневаюсь в этом, – успокоил я ее, – но скажите, не известны ли вам отношения Люсеваль к покойнику, и если они были интимны, то продолжались ли до последнего времени или нет, и в каких отношениях вы были с нею?

– Достоверно я ничего не знаю, – отвечала Кардамонова. – Действительно, в первое время, когда Люсеваль поступила, Валериан Константинович оказывал ей такое внимание, по которому нельзя было не заключить, что он влюблен в нее, и она с ним кокетничала; но потом они стали скрывать свои чувства. Я знаю только то, – прибавила Кардамонова, – что Люсеваль вертит домом, как ей угодно, и что бедной Антонине Васильевне от ее капризов очень плохо. Ко мне она относится с пренебрежением и трунит надо мною. Поэтому я всячески стараюсь избегать ее общества и встречаюсь с нею только за обедом да при гостях; обыкновенно же я или в своей комнате, или при Антонине Васильевне.

– Не ревнива ли Люсеваль?

– Ужасно, – отвечала утвердительно Кардамонова. – Я уверена, что едва ли она могла любить такого человека, как Валериан Константинович, но ревновать – она ревновала его ко всякой женщине.

Я еще сделал Кардамоновой несколько незначительных вопросов и отпустил с миром, смягчив, ради ее искренности, изложение в показании об ее отношениях к Верховскому.

Наступила очередь допроса жены покойника, хозяйки дома. Есть женщины, которые в самых зрелых годах сохраняют в себе прежнюю молодость, свежесть, девичью грациозность манер, мягкость и женственность, невыразимо влекущую к ним. Верховская принадлежала к таким особам. При входе ее я лишился серьезности и холодности юридического чиновника, в которую нередко старался облекаться при производстве следствия, и вместо обычных вопросов я невольно проговорил ей, когда она села в кресло:

– Вы, кажется, не в состоянии сегодня давать показания?

– Да. Но это все равно. Что сегодня, то я должна буду сказать и завтра.

– Чрезвычайно загадочное убийство!

– Несчастный случай! – сказала она, закрыв лицо руками.

– Случай? – возразил я. – Этого быть не может. По всей вероятности, оно совершено, судя по отсутствию всякого похищения, или из ненависти...

– О нет!

– То есть вы хотите сказать, что Валериана Константиновича больше любили, чем ненавидели? Но ревность и ненависть так близки между собою... Как бы то ни было, даю вам слово употребить все меры и усилия, чтоб найти убийцу; внутренний голос говорит мне, что я успею в этом.

Верховская вздрогнула и странно взглянула на меня; потом обвела глазами комнату, как бы желая удостовериться, одни ли мы, и произнесла почти шепотом:

– Ради Бога, не делайте этого!

Я был в большом недоумении относительно ее просьбы.

Отношения мои к Верховской были самые безукоризненные, святые. Я безгранично любил и уважал эту женщину, как мать, и не смотрел на нее другими глазами. По странной случайности судьба моей матери в молодости была очень похожа на судьбу Антонины Васильевны. Мать моя была тоже дочь провинциального актера, как и Антонина Васильевна, на которой Верховский женился, бравируя предрассудки; но потом, когда жене его, как бывшей актрисе, офицерские жены не стали оказывать должного уважения, он раскаивался в этой женитьбе и винил жену в своих неудачах по службе. Отсюда и явились, как было мне известно, ненормальные между ними отношения. Я лишился матери на втором году своей жизни, следовательно, я почти не помнил даже черт ее лица; но когда я встретился с Верховской в первый раз, то мне почему-то тотчас же пришло в голову, что мать моя была на нее похожа. Я бывал в доме Верховского единственно ради нее, и она относилась ко мне всегда ласково и дружелюбно.

Обсуждая многозначительные слова Верховской, которые, конечно, я не думал заносить в протокол, так как они сказаны были ею мне не как судебному следователю, а как хорошему знакомому, я старался дать им какой-нибудь смысл.

«По всей вероятности, – рассуждал я, – убийство скорее всего совершено госпожою Люсеваль, из ревности, а может быть, другою какою-нибудь женщиной или посторонним мужчиной, предмет любви которого сделался жертвою исканий покойника. Наконец, при всей невероятности последнего предположения, оно, в крайнем случае, может быть дело рук старика камердинера...»

Слова же Антонины Васильевны я мог объяснить себе лишь тем обстоятельством, что по какому-нибудь случаю ей известно имя убийцы, но по природной доброте своей она хочет скрыть его, о чем решается просить меня, рассчитывая на мою к ней дружбу и уважение.

Но как подозрение мое, согласно сказанному выше, более всего относилось к Люсеваль или к личностям вроде нее, то я и отвечал на просьбу Верховской:

– Подобные люди не заслуживают пощады и того, чтоб вы просили о них. Вы сами перенесли от них много зла и неприятностей.

– О нет! – сказала она с каким-то непонятным для меня одушевлением. – От этого человека, кроме любви и уважения, я не видела ничего другого. Он готов отдать мне всю душу... Боже мой! Боже мой!

Антонина Васильевна опрокинула голову назад, на спинку кресла, и тихо зарыдала, причем почти в беспамятстве сделала такой жест рукою, что с лица свалилась повязка, закрывавшая большую часть правой его стороны, и здесь глазам моим представилась картина, изумившая меня более самих слов Верховской. На закрытой до этого времени части лица ее я увидел несколько значительных сине-багровых подтеков, а один из них ясно обозначил отпечаток подбора<sup>15</sup> от мужского сапога. Я предполагал, что Антонина Васильевна в обмороке, но она подняла голову и, утирая заплаканные глаза, поспешно подняла повязку, с крайним испугом.

– Кем нанесены вам эти ушибы? – почти шепотом спросил я у ней.

Она не отвечала.

– Убийцей вашего мужа? – продолжал я.

– Нет.

– Кем же?

– Самим покойником... У нас вечером была ссора... Но, ради Господа, скройте все это от суда, в особенности ушибы.

---

<sup>15</sup> Подбор – каблук, подбираемый из обрезков кожи.

– Это довольно трудно. Впрочем, я постараюсь, если вы непременно скажете имя убийцы. Из некоторых слов ваших я заключаю, что оно вам известно.

– Я никогда не сделаю этого, хотя бы мне угрожали пытки, – отвечала решительно Верховская.

– Какое же мне писать от вас показание?

– Какое знаете. Пишите, что мы жили несогласно, накануне происшествия была между нами ссора и на лице моем – следы побоев. Пусть падет на меня подозрение. Но я не знаю имени убийцы и сама не совершила преступления. Передаю это происшествие в руки самого Бога.

– Нет, я подожду, – отвечал я ей, – я поступаю против своей обязанности, но я не сомневаюсь, что вы невинны. Я еще переговорю с вами сегодня или, может быть, завтра, и тогда составлю показание, которое вы подпишете. Может быть, вы доверите мне свою тайну. Антонина Васильевна! Не забывайте, что я люблю вас и уважаю, как свою родную мать.

– Верю, но заклинаю вас этими чувствами – пощадите меня: не требуйте от меня откровенности. Я бы еще раз повторила одну просьбу, что это невозможно. Благодарю вас, но знаю, что вы освобождаете меня хоть на короткое время от тяжелой необходимости отвечать на мучительные вопросы.

При последних словах Антонина Васильевна приподнялась с намерением уйти и пожала мне руку. Я проводил ее из комнаты.

Остальные допросы прислуге и домашним я решил отложить до другого дня. В тот же день мне еще предстоял труд сделать обыск в доме, совместно с полицией.

## Глава четвертая

Прежде всех подверглась осмотру комната старика камердинера. Там найдены были целые склады старых барских сапог, фуражек, шпор, белья и разного никуда не годного хлама, но чего-либо подозрительного, вроде кровавых пятен и прочего, не было.

Этого мы также не нашли и в комнате госпожи Кардамоновой.

За этим осмотром, по порядку допроса, следовал обыск комнаты Люсеваль. Комната эта была заперта ключом, и на предложение наше отпереть ее, Люсеваль отказалась, ссылаясь на то, что она французская подданная и не намерена судиться по русским законам. «Я их не признаю, – твердила она. – Мне нужно консула». Совокупные усилия мои, врача и полицейских чиновников убедить ее в законности нашего требования и нелепости ее отказа оказались напрасными, и мы принуждены были отворить дверь в ее комнату полицейским мерами.

Помещение Люсеваль заключалось не в одной, как я предполагал, а в двух комнатах: передней и довольно роскошном будуаре<sup>16</sup>, уставленном дорогими растениями. На бюро и на туалетном столе находилось множество ценных безделок. Шкаф ломился от гардероба, а некоторые ящики комода были полны драгоценными вещами; другой ящик комода содержал в себе магазин косметических товаров. Тут же в комоде были три шкатулки: одна с серебряными монетами, другая с золотыми, а третья – с кредитными билетами и сериями; четвертая шкатулка слоновой кости помещалась на туалетном столике; она была полна писем из Парижа от знакомых и от поклонников красоты Люсеваль из разных мест; между этими письмами мы нашли множество лаконических писем покойного Верховского. Они написаны были большим частью на оторванных лоскутках почтовой и простой бумаги, такого содержания: «Непременно, сегодня после бала, я буду у тебя. Твой В. В.». Или: «Поезжай в оперу, а оттуда поедем к Дорогу. Твой Валериан». «Приходи» – и прочее. Все эти письма, разумеется, служили доказательством тех интимных отношений Люсеваль к покойнику, от которых она отказывалась в своих показаниях, но мне думалось найти в ее комнате также следы кровавых пятен, замеченных мной на полу. Однако долгое время осмотр наш, кроме уже найденного, не открывал ничего нового; причина заключалась в том, что мы начали не с того, с чего следовало бы, иначе поиски наши увенчались бы успехом с первого шага. Едва, по окончании осмотра комнаты, полицейский чиновник дернул за занавес алькова<sup>17</sup>, за которым помещалась кровать, к нему подбежала Люсеваль, загораживая путь и задерживая занавес обратно.

– Не позволю, – вскричала она сначала по-русски и затем, обратясь ко мне на французском языке, стала протестовать против осмотра ее постели, называя русских варварами, не уважающими прав женщины.

Я ответил ей, что мог, и объяснил всю обширность власти судебного следователя, предоставленной ему законом в подобных случаях, и налагаемую ответственность за малейшее упущение. Но и здесь красноречие мое было так же безуспешно, как и в первый раз. Люсеваль от алькова была оттащена почти силой.

– Что вы делаете, что вы ищете? Бога ради, не трогайте, – закричала она, с выражением ужаса на лице, когда я, осмотрев постель, начал перевертывать тюфяк, чтоб удостовериться, не находится ли там чего-нибудь особенного.

Там, действительно, лежала скомканная в узел накрахмаленная вышитая юбка.

– Это мое грязное белье. Его нельзя смотреть, – продолжала Люсеваль, бросаясь вырывать от меня взятую вещь, но была остановлена полицейским приставом.

---

<sup>16</sup> Будуар – гостиная состоятельной женщины для приема близких знакомых.

<sup>17</sup> Альков – ниша, углубление в стене для кровати.

Желая рассмотреть юбку, я развернул ее, и из нее выпала белая батистовая кофта и розовые атласные туфли. Все три вещи были окровавлены. На материи туфель пятна крови видны были лишь только по краям к подошве, а на последних она довольно ясно сохранилась в засохшем виде, преимущественно в изгибе между каблуками и ступней, причем правая туфля была окровавлена гораздо более левой.

Я сообщил ей, что следы кровавых пятен от ступней замечены были мною еще при освидетельствовании трупа, о чем и записано в акте. Этим я рассчитывал довести Люсеваль до сознания и лишить ее надежды остаться безнаказанною путем заперательства.

Тогда Люсеваль, видя наши энергические действия и не придумав какого-либо изворота, решила на обычную женскую уловку: она вдруг затряслась вся, истерически зарыдала и довольно осторожно упала в мягкое туалетное кресло, свесив книзу голову. Доктор дал ей понюхать спирт и слегка потер ей виски; я же принялся за составление акта. Очнувшись, Люсеваль отказалась его подписать, ссылаясь на свою болезнь.

Найденные вещи в комнате Люсеваль, в связи со странным разговором мои с госпожой Верховской, ставили меня в сильное недоумение. По всему видно было, что вчера в дом Верховских еще до убийства происходила страшная драма, но, во всяком случае, рассуждал я, убийцею должна быть француженка; поэтому, вышедши из ее квартиры вместе с доктором, я сказал ему:

– Ну-с, почтеннейший Павел Иванович, кажется, мы с вами можем сегодня и отдохнуть. Нужно только распорядиться о домашнем аресте Люсеваль и о надзоре за нею да о трупе. Первое я принимаю на себя, а второе предоставляю вам. Более обысков я производить сегодня не думаю. Право, не к чему. По всем данным, мы напали на след убийцы.

– Гм... – отвечал задумчиво доктор, и, пройдя по коридору несколько шагов, он тихо спросил меня: – А комнату госпожи Верховской вы оставляете без обыска?

– Неужели же вы подозреваете ее? – почти вскричал я, вздрагивая. Я понял, что вопрос сделан доктором, вероятно, не без основания.

– Я заметил, – ответил доктор, – на лице ее пятна, кровавые подтеки, происшедшие от недавних побоев.

– Знаете что, Павел Иванович, – сказал я ему, – эти кровавые подтеки я и сам видел. Но мы с вами не только следователь и доктор, но и люди. Будем же судить по-человечески. Очень легко может быть, как показывает и камердинер, что вчера вечером между покойным и его женой произошла ссора, последствие которой были замеченные нами пятна. Слов нет, подобные обиды другую женщину легко могут довести до мщения, но не Верховскую, женщину кроткую, робкую и терпеливую. К тому же, по всей вероятности, она привыкла к ним, так как трудно предполагать чтоб Верховский, приученный с детства и за всю свою службу к кулачной расправе, не употреблял ее в от ношении к своей жене. Следовательно, эти подтеки при имени нами вещественных данных, найденных в комнате Люсеваль, ничего не значат. Придав им значение, мы только возбудим сплетни в обществ против женщины и без того несчастной.

– Как знаете, – возразил врач, – следователь вы; я составляю акты и освидетельствования по вашему предложению. Я высказал вам свое мнение, как товарищу. Не присутствовав до обыска при допросах, я думал, что вам неизвестны семейные несогласия Верховских и вы не заметили на лице жены Верховского пятен. Но у вас есть свои соображения.

Последняя фраза кольнула меня.

– Я попрошу вас освидетельствовать Верховскую завтра же и сделаю, пожалуй, обыск. Сегодня я устал, да и бедная женщина исстрадалась вся.

– Завтра подтеки могут значительно измениться, – заметил врач, – а особенно при употреблении медицинских средств. Обыск можно произвести и без присутствия Верховской. Кстати, мы около ее спальни. Хотите, я позову полицейских и понятых? Простите меня, я убежден, что вы действуете совершенно бескорыстно и одно сострадание, при уверенности,

что госпожа Верховская невинна, заставляет вас давать ей некоторые льготы; но другие, не знающие вас, могут перетолковать ваши действия в невыгодную сторону. Впрочем, повторяю, я говорю как частный человек...

– Хорошо, – отвечал я со вздохом, – я последую вашему совету. Позовем понятых.

Покои Антонины Васильевны хотя были заперты, но ключ от них находился в замке. Я вошел в них, в сопровождении своих спутников, не без внутреннего волнения.

Будуару предшествовала небольшая комната в виде залы, содержащаяся в необыкновенной чистоте. В ней находился мягкий диван, покрытый белым чехлом, несколько соломенных стульев и два мраморных стола. Чистота и опрятность составляли отличительную черту этой комнаты, которую скорее можно было принять за келью игуменьи монастыря, чем за будуар светской женщины. Туалетный стол был превращен в письменный, на нем лежали ноты, книги религиозно-нравственного содержания, в богатом переплете Евангелие, бюстики святых и распятие. Бюро помещалось за альковом; здесь тоже лежали молитвенник, святцы<sup>18</sup> и небольшое Евангелие. Ярких цветов в будуаре вовсе не было: мебель была покрыта белыми чехлами, оконные занавесы были такого же цвета, альков – серо-шоколадного. Одна только лампада, горевшая перед киотом<sup>19</sup>, проливая вокруг себя яркий свет, отражавшийся на золотых ризах образов.

Пересматривая вещи Верховской, я старался ставить их в прежнем порядке на старое место. Обыск наш приближался уже к концу очень счастливо для Антонины Васильевны, как неожиданно доктор заметил в кровати выдвижной ящик. Выдвинув его, мы нашли в нем одно только серое женское платье, которое лежало посреди массы пыли. По-видимому, ящик не выдвигался долгое время, года два или более; платье же было брошено накануне, потому что верхняя часть его не носила ни малейших следов пыли, чего не могло быть, если бы оно лежало давно. На платье мы нашли кровавые пятна, и притом такой формы и на таком месте платья, что почти безошибочно можно было заключить о происхождении их от обтирания о платье рук, запачканных кровью.

Я грустно повесил голову и принялся за составление нового акта. Позванная горничная удостоверила, что платье принадлежало Антонине Васильевне и она была в нем накануне...

---

<sup>18</sup> Святцы – церковная книга, содержащая календарь с полным перечнем святых по дням, в которые отмечается их память, а также с перечнем всех праздников.

<sup>19</sup> Киота (устаревшая форма слова «киот») – застекленная створчатая рама или шкафчик для икон.

## Глава пятая

Кровяные пятна, найденные на платье госпожи Верховской, еще более усложняли и запутывали и без того загадочное убийство ее мужа. Я терялся в догадках, предположениях и не мог развязать гордиев узел.

Вся надежда основывалась на передопросах, которые могли выяснить что-либо, на случай если б кто-либо из допрашиваемых лиц сделал обмолвку. Но старик Прокофьич и Кардамонова показывали во второй раз то же самое, что и в первый, прислуга тоже. Показания последней были весьма незначительны; об убийстве она отзывалась полным неведением; весь интерес заключался только в сообщении некоторых подробностей об образе жизни покойного, вполне подтверждавших его интимные отношения ко многим женщинам, и, между ними, к Кардамоновой и Люсеваль.

Я вызвал также к допросу и последний предмет любви Верховского, Бэту Христиановну Крок, о которой упоминал в своем показании камердинер. Она оказалась вдовой инструментального мастера, финляндской уроженкой, но физиономия ее скорее напоминала восточный тип еврейки или, пожалуй, гречанки. Она была очень красивая особа, двадцати восьми лет, как видно владевшая искусством притворяться при надобности страстной и влюбленной. Бэта Христиановна принадлежала к тем особам, о которых говорится, что они «видели на своем веку виды». Она проживала некоторое время в Вене, в Берлине и, кажется, в Париже.

Про отношения свои к Верховскому эта женщина показала, познакомилась с ним у Дорота и потом принимала у себя и ездила с ним кататься. Накануне он приезжал к ней в гости вечером, часов в семь, как передавала ей прислуга, но она, не ожидая в тот день гостей, уехала часов в шесть из дома по делу к одному своему знакомому в Екатеринбург, где пробыла до утра.

Справедливость всего этого подтвердилась наведенными мною справками и свидетельскими показаниями домашней прислуги Бэты Крок, также ее знакомого и прислуги в Екатерингофе, а потому она, на основании юридического алиби – отсутствия во время происшествия из того места, где оно совершено, осталась вне подозрений.

Люсеваль на передопрос явилась без всяких признаков прежней самоуверенности. Кажется, она обдумала свое положение, взвесила мои слова и решила сознаться. Но я все-таки смотрел на нее недоверчиво, зная по опыту, как иногда преступники, а особенно преступницы, умеют принимать на себя личину оскорбленной невинности и под видом искреннего признания скрывать и маскировать истину.

– Я очень виновата перед вами, – начала Люсеваль с умоляющей физиономией, – я дала вам вчера ложное показание. Сделайте милость, извините меня и пощадите. Вникните в мое положение. Я – девушка. Своим сознанием я лишуюсь не только доброго имени и куска хлеба – после этой истории не сыщу места, – но еще навлекаю на себя подозрение в убийстве. Поэтому вчера, в сильном испуге, я побоялась рассказать всю истину, думая, что этим я спасу себя. Между тем я, кажется, лишь повредила себе. Впрочем, я хорошо не знаю. Примите во мне участие! Посоветуйте, что делать! Послушайте: мы с вами в этой комнате совершенно одни. Подарите мне несколько минут. Будьте вы не судебным следователем, а посторонним человеком, – например, моим адвокатом. Я открою вам полную и глубокую правду, все как было. Но... дайте честное и благородное слово, что когда вы выслушаете меня, то скажете откровенно: полезно ли мне это признание? Не лучше ли отречься и сочинить какую-либо другую историю относительно кровавых пятен на платье? Я так запугана вашими русскими уголовными законами! Не думайте, чтоб я требовала от вас одолжения совершенно безвозмездно. О нет! Я готова пожертвовать всем. Позвольте мне на первых порах, собственно за совет, предложить вам, что есть у меня в распоряжении.

Люсеваль вынула из кармана пачку пятипроцентных билетов<sup>20</sup>.

Я привстал с кресла и стал, как бы в раздумье, прохаживаться по комнате, не говоря ни слова, с намерением ввести Люсеваль в заблуждение о своем бескорыстии, и не прерывать ее, чтобы дать возможность ей высказаться.

– Освободите меня, – продолжала она, – от суда или дадите благоприятный исход делу – я готова дать втрое больше, хоть все, что вы видели у меня в комод. Даю вам слово, ваш совет останется в тайне, и вы сделаете доброе дело, потому что, клянусь вам, я невинна в преступлении. Примите же мой ничтожный подарок.

– Благодарю, – отвечал я, останавливаясь перед Люсеваль и смотря ей прямо в глаза. – Я денег ваших не приму, потому что это у нас называется – взятка. Мнение иностранцев о русском взяточничестве было очень справедливо, но, заметьте, было, теперь же последнее существует почти в той же мере, как и в других государствах. Чтоб прекратить старое зло, правительство рискнуло предоставить весьма важные юридические и следственные должности таким молодым и малоопытным людям, прямо со школьной скамейки, как я, руководствуясь тем соображением, что их юношеская, неиспорченная натура чужда взяточничества. И, говорю вам смело, из сотни молодых судебных следователей едва ли вы найдете одного взяточника... Если б подобное предложение мне сделала не женщина, и притом не иностранка, я бы серьезно обиделся, но вас я извиняю. К тому же, если вы говорите правду, что вы совершенно невинны, то вам и незачем подкупать мою совесть.

– Простите, – проговорила она, – я не знаю, к кому мне обратиться, и прибегнула к вам. Мне казалось, что я буду покойнее, если поблагодарю вас.

Такая наивность заставила меня улыбнуться и отнестись к поступку Люсеваль хладнокровнее.

– Следовательно, – спросил я ее, – теперь, когда я отказался от денег, я этим отнял у вас всякую надежду на участие? Вы ошибаетесь. Правда, предложение ваше меня обидело, но обращение ко мне как к человеку достигло своей цели. Будьте же добры, расскажите вашу историю откровенно. Это ни в каком случае не может повредить вам.

– Я, право, боюсь. Мое прошлое не безупречно. Мне стыдно. Притом после вчерашнего отрицания моя история может показаться неправдоподобною.

– Неправдоподобною?! Когда она истинна?

– Да! Уверяю вас всем святым.

– Насчет этого будьте покойны, – сказал я Люсеваль. – Несмотря на то, что вы еще не удостоили меня своею откровенностью, я вам выскажу некоторые мои правила при производстве следствий. По странной случайности в начале моей службы мне попадались такие запутанные дела, в которых неотразимые подозрения падали всего чаще на лиц, совершенно невинных и оправдания их казались баснями; преступники же долго оставались вовсе в стороне, людьми посторонними. Но в конце строгого следствия ход дела изменялся и басни превращались в быль. Вследствие этого у меня выработалось правило считать вероятными самые неправдоподобные истории и проследить их, если, конечно, они не полная нелепость, которая говорит сама за себя; и ко всем неотразимым доказательствам я отношусь с крайнею осторожностью и беспристрастием, стараясь не верить им и искать преступника между малозаподозренными. Это обратилось у меня в манию. Теперь верите мне?

– Верю, – отвечала Люсеваль, погрузившись в задумчивость, после чего, сделав небольшую паузу она спросила: – С чего же мне начать? Со вчерашнего ли дня, как я увидела убийство, или ранее, с истории моей жизни?

– Чем подробнее, – заметил я ей, – я буду знать обстоятельства вашей жизни, тем лучше.

---

<sup>20</sup> Пятипроцентные билеты – облигации государственного займа, дававшие доход на общую сумму 5 рублей в год.

– Я, – начала Люсеваль, – парижская уроженка. Маменька моя имела средства, мы хорошо жили и всегда бывали в порядочном обществе. У меня был жених; он очень любил меня и думал жениться, чему помешали разные обстоятельства. Маменька в это время заболела и умерла, состояние ее было взято, потому что она могла располагать им только при своей жизни; мне выдали 500 франков и предоставили самой себе. Я решительно не знала, что мне делать. Между тем я получила некоторое образование: знала немецкий язык, историю, географию, несколько математику и музыку. Поблизости моей квартиры был небольшой отель, принадлежавший одному русскому семейству. Семейство это, как я узнала чрез объявление в газетах, нуждалось в то время в гувернантке, в отъезд в Россию; я пошла с предложением своих услуг. Госпожа Д. – фамилия русской дамы – была очень добрая и чувствительная особа; она пожалела о моем сиротстве и приняла мое предложение. Вслед за тем мы поехали в Россию. Здесь зиму и осень мы жили в Петербурге, а лето в имении под Москвою. По прошествии года я перешла от Д. в другое семейство, затем, вскорости, – в третье, потом – в четвертое, и так далее. Мужчины везде постоянно преследовали меня, осыпали любезностями, комплиментами, искательствами и обещаниями – и постоянно обманывали. Я была чрезвычайно легкомысленна и легковерна. На шестом или седьмом месте, когда я сделалась уже солиднее и зрелее годами, я как-то оглянулась вокруг себя, вникнула в мое положение и образ жизни, и увидела, что легковерность моя чрез несколько лет может свергнуть меня в ужасную бедность, нищету и сделать из меня несчастнейшее создание. Я дала себе слово перемениться и всеми мерами стараться обеспечить свое будущее. Прежде я вовсе не была жадна к деньгам, напротив, я сорила ими. Во время этой перемены во мне я жила в провинции у одного богатого помещика-степняка, имевшего огромное семейство, в губернском городе Е. Жизнь моя в этом доме была хуже, нежели в других, потому что мои ученицы были уже совершенно взрослые девушки, вследствие чего происходили столкновения наших самолюбий и другие неприятности. Впрочем, помещик жил открыто, часто давал для дочерей балы и вечера, и недостатка в поклонниках у меня не было; но между ними я не могла сделать выбора соответственно задуманной цели: они принадлежали или к кругу бедных чиновников, или были люди скупые и расчетливые.

Такая неудача начала было уже выводить меня из себя, как однажды является в наш дом майор Верховский, приехавший в качестве ремонтера<sup>21</sup> за покупкою лошадей к помещику, у которого был довольно обширный конский завод. С первой встречи наружность моя произвела на Верховского впечатление, и за обедом он просто пожирал меня глазами. Вечером, когда я пела за роялем, он уже совсем был очарован мной и готов был на признание, но я довольно холодно и гордо отклонила от этого. Со своей стороны, и я обратила внимание на Верховского: он показался мне именно одним из тех мужчин, которые, если возбудить в них страстную любовь, готовы пожертвовать для любимой женщины всем. Из разговоров же его с помещиком я узнала, что он богат и имеет несколько имений в разных губерниях, но при этом я поняла, что Верховский ветрен не по летам и сластолюбив, а потому, чтоб заинтересовать его и иметь над ним хотя некоторое время влияние, я решила, что нужно сначала выдержать упорную борьбу против его желаний и затем продолжать интригу, подогревая его чувства кокетством и возбуждая ревность. Он будет беситься, неистовствовать, но будет прикован к такой женщине надолго. О том, что он женат, я не знала. Об этом я получила сведение гораздо позже, когда уже между нами произошло объяснение. О себе я рассказала ему целую историю, с замогильным женихом и т. п. – разумеется, совершенно вымышленную, но очень романтическую. С каждым днем Верховский привязывался ко мне все сильнее и сильнее. Я то подавала ему надежды, притворяясь страстной женщиною, не могущею удержать порыва своего влечения к нему, то избегала его, как женщина нравственная и строгая к себе, не решающаяся пренебречь

<sup>21</sup> Ремонтер – офицер, отправленный из полка для закупки лошадей.

известными общественными условиями и нарушить свой долг. И, если б Верховский был не женат, он непременно просил бы у меня руки.

Наконец между нами наступил тот период отношений, в который или я должна была уступить желаниям Верховского, или он вынужден был бы бежать от меня, потому что сносить далее то положение дел он был не в состоянии... В скором времени после этого Верховский получил в Петербурге новую должность, обязывавшую его жить там безотлучно; это заставило его просить меня переехать к нему в дом туда, причем он принял на себя труд устроить это под благовидным предлогом, не компрометируя меня. Я долго не соглашалась, но боязнь быть совсем оставленной им, и вместе с тем лишиться надежды на осуществление моего плана в будущем, побудила меня принять такое предложение.

## Глава шестая

– Я буду с вами откровенна, – продолжала Люсеваль, обращаясь ко мне и прерывая свой рассказ. – Вы видели, я не скрыла от вас даже грязных моих побуждений на первые отношения к Верховскому. Не утаю и того, что переехать к нему в дом я согласилась, между прочим, и в тех видах, что он будет у меня находиться постоянно под руками. Верьте же искренности и следующего моего признания.

Когда я была моложе, у меня, как я говорила вам, было много обожателей, людей молодых, красивых, обладавших достоинствами и талантами и любивших меня глубоко и серьезно, но я никого так в жизни не любила, как в последнее время Верховского. Словно приворожил меня этот человек к себе, когда я отдалась в его власть. Может быть, источником этого чувства было отчасти самолюбие и преимущественно развитое в женщинах желание удержать жертву в своих руках, если она по ветрености своей выскользает; может быть, здесь действовали и страх, что я уже стареюсь и мне трудно найти прочного поклонника, и оскорбление, что меня бросают... Скорее же всего, все это вместе. Я знаю лишь, что прежняя корыстолюбивая цель отошла на второй план и я чувствовала такую жгучую ревность ко всякой женщине, к которой Верховский был сколько-нибудь любезен или внимателен, какая может быть только при самой страстной любви. Вероятно, и вы слышали о подобных явлениях, что довольно опытные кокетки попадают в сети, ими же расставленные для своих жертв? Это нервное и раздраженное состояние духа, в котором я была во время нахождения в доме Верховского, заставило меня, от природы добрую, быть несправедливой ко всем окружающим, особенно к Антонине Васильевне. С первого же дня приезда, когда Верховский притворился перед домашними, что он до вступления моего в его дом не был знаком со мною, я догадалась об отношениях его к Кардамоновой. Они произошли в промежуток между оставлением мною места в Е. и прибытием в Петербург, за пять-шесть месяцев. Но Кардамонова была в глазах моих слишком неопасная соперница, по своей неразвитости. Что же касается жены Верховского, то я признавала, как трудно мужчине не поддаться обаянию ее симпатичной наружности, ее женственности – и не уважать ее. При всей своей безнравственности, и сам Верховский уважал ее и даже по-своему любил. Он чувствовал, что его жена выше всех тех женщин, с которыми он сходил. Ссоры между ними происходили потому, что его совесть колола чистота жены. И, прими на себя Верховская хотя притворно маску кокетства, она бы возвратила себе любовь мужа. Ревнуя Верховского, как старого ловеласа, я в то же время мучилась мыслью, что или его порывы уgomонятся, или когда-нибудь наступит час покаяния, но он непременно, рано или поздно, обратится к жене. Поэтому, считая Верховскую своим естественным врагом, я, в припадке ревнивых соображений, тиранила и терзала несчастную женщину капризами и придирками. Антонина Васильевна переносила все это терпеливо; когда же чад проходил, мне становилось жалко своей жертвы; я с благоговением смотрела на нее, готова была просить прощения и целовать у ней руки. К сожалению, Верховская не понимала этого, не хотела обращать на меня внимание и удалялась, что вызывало у меня новый порыв бешенства.

В таком положении шли дела несколько лет. Мне стоило больших трудов, но я сумела удержать Верховского в своей власти до прошлого месяца. С этого же времени я стала замечать в нем перемену и заподозрила его в интриге на стороне. Однако я предполагала поговорить с ним об этом тогда, когда буду иметь в своих руках улики, но улики этих я не добыла до самой его смерти.

Между тем, накануне происшествия, его резкая невнимательность ко мне и странный отъезд из дома, а потом возвращение превратили мое подозрение в положительную уверенность, и я решилась объясниться с ним; но произошедшая в тот вечер ссора Верховского с женою помешала мне сделать это. Я ушла к себе в комнату часов в десять, а чрез час разде-

лась, улеглась в постель и принялась было читать; но книга скоро выпала из рук, и я заснула, так что мой сон можно назвать почти послеобеденным и случайным, потому что мы обыкновенно обедаем в седьмом часу и я никогда не ложусь ранее часа-двух. Улегшись так рано, я проснулась около трех часов утра. Мне не спалось, и я вспомнила свое намерение объясниться с Верховским и то, что он, бывая с вечера пьян, часто просыпался в середине ночи. Верховский спал всегда крепко и не чутко, но никогда не сердился, если я его будила, и показывал вид, что это ему приятно. Рассуждая об этом, я, в кофте, юбке и туфлях, осторожно пошла к нему переговорить или узнать, спит ли он. Дверь в кабинет была не заперта; прежде всего меня удивила бывшая в нем темнота: я знала, что Верховский всегда спал при ярком свете лампы или двух свечей. Это заставило меня на несколько секунд остановиться и прислушаться, спит ли он, или его нет дома. Ни храпа, ни дыхания не было слышно. Я ощупью пошла далее и, не дойдя несколько шагов до кровати, протянула к ней руки, надеясь дотронуться до нее, чтоб убедиться, здесь ли Верховский, или его нет.

Вдруг нога моя наступила как бы на человеческое туловище, скользнула по нему, и я упала как раз грудью на труп, ударившись повыше лба головою о кровать. Затем я тотчас же быстро поднялась с пола, причем руки мои на ковре почувствовали что-то липкое и мокрое; охолоделости же трупа я не заметила, так что хотя внезапное падение и испугало меня, но я вовсе не заподозрила какого-либо несчастья и приписала все ненормальному состоянию Верховского, который, думала я, просто упал с кровати. Я бросилась к письменному столу зажечь свечу, чтоб разбудить и уложить несчастного на место.

Но можете представить себе мой ужас, когда я увидела Верховского, плавающего на ковре в луже крови, и тут же – орудие его смерти! Я задрожала, остановилась и в страхе, как будто преступницей была я, дико оглядела комнату... Во всем доме царила глубокая тишина. «А что, если убийца спрятался в кабинете и бросится на меня?» – быстро пришло мне в голову. Как сумасшедшая, я дунула на свечку, кинула ее на стол, выбежала из кабинета в свою спальню, чрез залу и гостиную, и заперлась там на ключ.

Чрез несколько минут я пришла в себя и обсудила свое положение; оно было безвыходно: разбудить прислугу и уведомить о происшествии домашних – значило бы открыть свои отношения к покойнику и показать, что я ночью ходила к нему, чем я навлекала на себя подозрение; а о русских законах я наслышалась таких ужасов, что ожидала, что при малейшем подозрении меня засадят в тюрьму, где я просижу несколько лет, а может быть, и вечно. А потому я решилась скрыть, что я ночью ходила в кабинет и видела труп. Кровь на руках своих я обмыла, а белье спрятала, не предполагая обыска, под тюфяк. Остальную часть ночи я не спала и ждала времени, когда проснутся домашние. Минуты казались мне чуть не годами; нетерпение усиливалось с каждым мгновением, и западала также мысль: не жив ли еще Верховский. В девятом часу я не могла удержать себя и вышла из своей комнаты, чтоб послать камердинера. Я была очень встревожена... Дальнейшее вы знаете: Прокофьич поднял крик, разбудил домашних, послали за полицией и приехали врач и вы.

– Я не знаю, – заключила Люсеваль, – кто был убийца, и никого не подозреваю из домашних; если б Антонина Васильевна была другая женщина, то, после вчерашней ссоры с мужем, я могла бы подозревать ее, но она не может и не в состоянии этого сделать. Про себя же я рассказала вам все, как пред Богом! Еще раз клянусь вам, что я невинна. Не смотрите же на меня подозрительно! Будьте справедливым судьей и человеком!

Французы выработали весьма справедливую поговорку – «тон делает музыку». Манеры Люсеваль, которые сопровождали ее показание, игра физиономии, краска на лице, одушевление, с оттенком легкого цинизма, искренность, дышавшая в ее словах, делали ее показание правдоподобным, и я, при всей подозрительности своей, поверил ей. Последнее показание свое Люсеваль скрепила подписью.

От первой женщины, заподозренной в убийстве, я пошел ко второй, попросив врача, прибывшего уже для освидетельствования знаков на ее лице, подождать меня немного в зале.

Прошли одни только сутки после того, как я видел Верховскую. Но, Боже, как может перемениться человек при душевных страданиях и за такой ничтожный промежуток времени! Щеки ее осунулись, резко обозначая скулы, глаза потускнели и окружились темной каймой, нос заострился, и, незаметные до того дня, седые волосы рельефно и в большом числе показались между своими русыми товарищами.

Чтоб сколько-нибудь приготовить ее к встрече с собою и к разговору, я за несколько минут предупредил ее о своем приходе, но, невзирая на это, Верховская приняла меня с крайним замешательством, из которого я, между прочим, заключил, что ей известно о бывшем обыске в ее квартире и найденных вещах.

Мое положение при входе к Верховской было также невыносимо тяжело. Я не мог придумать фразы, с чего мне начать речь, и, поклонившись, я как истукан опустился в кресло. Антонина Васильевна сидела передо мной с лицом приговоренной к смерти, но вдруг на бледных щеках ее вспыхнул яркий румянец и стал распространяться все сильнее и сильнее.

– Благодарю вас, – выговорила наконец она, поднимая на меня глаза, – за ваше участие ко мне. Пусть Бог наградит вас за это. Знаю, что вчера, чтоб облегчить мою долю, вы сделали более того, что могли. Вы поступили против своих обязанностей по должности. Могу ли я не быть вам признательной? Но, как видите, факты группируются так, что дальнейшие ваши жертвы совершенно бесполезны для меня и положительно вредны вам. Исполняйте же вашу обязанность строго и точно, а жребий мой предоставьте Богу. Ему угодно было послать мне крест, и я перенесу его с полным терпением. Если же я попрошу вас о том, о чем просила и вчера, чтоб вы не употребляли особо энергических мер к розыску убийцы, то это потому, что дело может продлиться долго и могут пострадать лица невинные, которые были в близких отношениях к покойному. Это будет мучить меня...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.